

алексей куценок

СТАНЬ НА МЕНЯ ПОХОЖИМ



Алексей Куценок

Стань на меня похожим

«Издательские решения»

Куценок А.

Стань на меня похожим / А. Куценок — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836150-0

Это не просто книга, это явление огромное и неоднозначное, действительное и потаенное. Чувствуя отторжение, стыд от честности и желание вырваться из клетки страниц, читатель не замечает, как становится тем самым ее главным героем — сумасшедшим, легким, простым. «Безумие — вот о чем я поистине мечтаю для человечества» — вот его слова. Жаждущему да прибудет. Ах, если... Целый круг сансары пройден, и вы снова на первой странице, вы отыскали бесконечность. И отобрать ее у вас может только Она...

ISBN 978-5-44-836150-0

© Куценок А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Часть 1	8
1	8
2	14
3	22
4	27
Часть 2	29
1	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Стань на меня похожим

Алексей Куценок

– Стало быть, вы книгу задумали написать?

– Да, – отвечаю я, – стало быть, так.

– И о чем книга-то ваша будет, разрешите...?

– Разрешаю. Трудно сказать, но скажу. Доктор, были бы вы мной, вот представьте, в моей коже, с этой почти лысой головой и этими зелеными, вечно убегаящими глазами. О чем бы стал писать человек, утверждая, что он таковым и является, вот о чем он может написать, будучи мной? Может, будь вы мной, дали бы ответ более определенный, чем я? Думается, не дали бы. Вот и я не стану.

© Алексей Куценок, 2017

© Надежда Саяпина-Гендрусева, дизайн обложки, 2017

Корректор Юлия Новикова

ISBN 978-5-4483-6150-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

И я упал, будто меня сильно потрянуло бурей, серым изувеченным холодом, ноябрьским сутулым ветром. Земля под ногами пошатнулась, как у бездомного моряка. Такое бывает в этом городе с поразительной частотой. Шатаются бабки, снующие в могильниках подземок и метро, прося мелочь на еду и гвозди, чтобы потом забить ими в доме окна да ставни, не видеть света. Шатаются чернорабочие, бизнесмены, дети, их родители, приезжие, местные утопийцы и блюстители культуры, ходячие мертвецы и колясочные гении, держащие в руках целую кипу жизни – и теряют ее где-то между станцией «Ленина» и «Площадь революции». Вечные туристы, шагающие с китайской площади к памятнику Петру Первому окольными путями, находят все эти жизни и ловко фотографируют их на свои Кэноны и Фуджи. А потом показывают у себя дома, мол, вот, семья, гляди, какие матрешки, балалайки и ушанки, а тут – и колокольня, и собор, и улицы в огнях. А что это за пятнышко? Да кто-то жизнь обронил, а я сфотографировала – вот, полюбуйте.

Есть и те, кто жизни свои давно выронили, не заметили – и дальше идут себе преспокойно кушать где-нибудь в модном кафе в здании совдеповских времен, у разваленной дождями и бурями стены то ли Цоя, то ли мавзолея еще живого и пугливого мэра. А тут ветер взбудораживается, раны открывает, с силой кидает голодные тела на тротуар, и те падают, как в люлечку кладутся – и уже не находят смысла подыматься. Снизу вид хороший: облака, оказывается, еще видны глазом, тут тихо и никто не беспокоит. Это пока прохожие, наконец, не обращают внимания на странного гражданина, мешающего им любоваться ненавистными узорами обосанных углов, красиво осыпающихся на земельку не то золотом, не то манной. Хотя скорее песком, краской и глиной. А тут чучело какое-то людей пугать вздумало: руками болтает да вдаль смотрит, звезды считает, так еще и днем! Понимаете! Девушка, вызовите милицию.

На сей раз дело было не в ветре и даже не в милиции. Дело бы в Тебе. Я прятал Тебя как только мог, застегивал Тебя на замки в карманах, заклеивал скотчем и пластырем, замазывал йодом, прятал в целлофановый пакет из продуктового, заламывал как использованные спички руками. Но Ты вновь выползала головной болью, голосом и сладким запахом, шептала мне свои гениальные идеи и истории о несуществующих мирах под ногтем, целовала мою шею в крапинку, отчего я укрывал ее с заурядным упорством воротом пальто, ежась. И горбась от наслаждения, как при оголенной по лету спине. Но Ты ударила. Прямо в живот стальным и холодным. Переломился сосуд внутри меня и рассыпался на части, я думал раньше, что бессмертие мое в этом сосуде лежит. Я его там спрятал – еще в детстве – подальше от родительских и других сильно зрячих глаз. Чтобы им спокойнее было, чтобы не нашли как иголку Кощея и не укололись. Ах, сам не удержался, захотелось достать и полюбоваться. Ты помогла.

И я упал. Раны не болели. Только язвительно покалывали и прилипали к одеждам. Подумал вдруг, что умру прямо тут, на убогой, не залатанной еще ленивыми рабочими дороге, вечной дороге без пункта назначения. Ты шептала про карусель – и мне кружило голову.

Я больше не подымаюсь. По бокам от меня качают свои изящные, тонкие руки художника деревья цвета ночи, они клонятся к моему лицу, ласкают своими тенями голову и убаюкивают мой слух песнями всех матерей на Земле. Звуки шуршат и бьются о мое небритое лицо, украшенное царапинами и синяками, предательством, терпением, улыбающееся как всегда. Шорохи листьев в пустоте напоминают о приближении детской мечты проснуться где-нибудь там, где хотелось просыпаться бесконечно. На чердаке, например, а может, в планетарии или того лучше – у морского берега по пояс в горячем песке. Крутить в руках большой зонтик, водить машинки по дорожкам, пробитым волнами соленого горя, строить башни из слоновых костей и пустых пивных банок, встречать корабли сигнальным дымом красного и синего цвета

от огонька, что вспыхнул чудом, сквозь лупу рожденный. Ощущать девственность и невесомость. Ощущать Тебя.

Звуки прекращают шуршать, я чувствую теплую руку у меня на щеке. Слышу дыхание и тонкий звук, напоминающий свист, что обычно издают по осени заложенные носы. Кружусь на карусели и слушаю этот звук, стараюсь поймать его руками и забрать себе, запахать поворовски за пазуху, но он всегда на несколько шагов впереди. Стучат каблучки где-то у моей головы, белые волосы, вижу я краем глаза, таят в прохладе и капают, как пломбир на жару, впитываются в мое тело. Полуобнаженная и в цветах, Ты касаешься меня снова, закрываешь мне глаза рукой, шаришь по моим карманам. Берешь из моего кошелька деньги и документы, какие-то листы с текстами из нагрудных пазух, записки и письма, все отпускаешь по ветру. Осматриваешься. Из рук у меня Ты выдираешь записку, измятую, мокрую от слез, короткую записку о тайне. Горит спичечный коробок, горят буквы, горит тишина. После чего карусель останавливается, голова моя падает ниц, кое-кто бежит, я еще слышу, но уже не могу разобрать, туристы ли пришли фотографировать меня, бандиты ли хотят забрать мои органы, Ты ли меня вернула спаси?

И я, усыпанный снежными звездами, первыми в этом году, белыми как брови у альбиноса или седого ангела, баюкавшего меня маленького ледяными, нежными подарками откуда-то сверху, надо мной; лежу на асфальте и дышу полной грудью, только бессознательно и стыдливо. Воеет сирена, шелкает вспышка фотоаппарата, гаснут фонари. Ты так близко, знаю я, но Тебя нет, и остается одна суета. Жизнь только что просочилась сквозь пальцы и впиталась в землю подо мной. Тени стали ковылять по кругу, кривиться и топтать ногами, курить сигареты, плевать и говорить какие-то слова. Я их не слушал, не наблюдал за ними более, они превратились в одну большую суету. Я ее отпустил. С неба падали первые хлопья снега, и это было намного важнее чьей-либо смерти.

Часть 1

1

Верно заметил мой друг И., возвращаясь из далекого города, где он жил и был несколько лет чужаком. Говорил он, что нет на свете ничего лучше дома, и нет ничего хуже – в этот дом возвращаться.

Так и мы все, привыкшие к теплу и чувству, что нас нигде не ждут, кроме как дома, в лучшие и худшие наши времена тянемся к нему, как к солнцу, и предаемся ему. Он нас успокаивает и потихонечку убивает своей уютной тоской.

Обмываю ноги в ледяной воде. Старая деревенская привычка – мыть ноги в тазике перед сном, а потом шлепать по линолеуму, оставляя водяные бомбы на нем, к умывальнику, срывать с крюка полотенце и вытираться. Им же подтирать следы за собой. Куча следов вовек тут останется.

Только что спустился с отвесной скалы, перешел горы, прячась от дождя под старым военным пальто, который мой дед носил то ли на войне, то ли в мире, прожженным махоркой и прогрызенным молью. Пальцами забиваю дыры в нем и чешу к городу. Дед давно умер, а пальто осталось. А больше ничего от него и не осталось кроме памяти, каких-то фотографий выцветших в альбомах в доме у родителей да этой уже почти сгнившей тряпки. Хоть она мне и в пору, сидит как влитая, я в ней похож на очень старый монумент забытому какому-то деятелю или при жизни мертвому писателю. А я, болван, бродил без обуви долго, одухотворяясь и с самим собой якаясь, да на деле пальцы все поразбивал, в рюкзаке была лишь пара старых ботинок с протертой уже подошвой, которые несколько месяцев как потеряли свой цвет, форму, образ и даже нищету. Из таких супа не сварить. Будет и голод.

Я с детства бывал бродягой и, как и сейчас, носил простые и самые дешевые Адидасы, в которых мальчишки всего города играли во дворах в футбол, квадрат и все остальные придуманные наспех игры с мячом. Теперь их не так уж просто найти – ни мальчишек на улицах, ни Адидасов таких. Только на местных рынках в каких-нибудь богом забытых городишках, где травятся солнцем и спиртом местные бизнесмены и вумэны (и наоборот), которые когда-то тоже гоняли по двору дерматиновые круглые тряпки с эмблемой Фифа, стирая подошву кроссовок, у которых к тому же постоянно отрывались три белые полоски с боков. Мои уже тоже оборвали ветер и бабушка Время. Бороды не отпустил в этом походе, молод еще, однако колело и лицо, и уши, и ноги, конечно, колело, ныло все тело. А более всего ныло в груди. Грязи принес в дом больше, чем воспоминаний, – эдакая липучка для мух, точнее для того, на что мухи слетаются. Думал и вспоминал, где же потерял свои три крыла с левого и два с правого ботинка? В каком зареве, в какой буре, в чьем месте и кому оставил их? Там, где они, скрючившись, лежат и засыпают, ходил я, там были виды.

Холмы кружатся в глазах, в канавах всплывают трупы святых, только что обвенчанных влюбленных, всплывают бумажные и пенопластовые кораблики, собранные детскими святами ручками, камушки с выцарапанными именами барышень, монеты на «вернуться сюда однажды», всплывают дерматиновые мячи, продырявленные бессмертным злым дедом с твоей улицы, у которого ты однажды крал кабачки и морковку, а потом продавал на рынке его же дочери. Бумерангом о лоб мне эта история. Запомнилось мне, как было, а было, как не будет больше никогда. Тухлая вода течет против ветра. Жилы замирают, а там не бьется. Помню ли...

Моя рациональная память запоминала не то, что хотелось так называемой душой помнить всегда. Она знала, в каком году Венечка забыл свой роман в электричке, и как я на том же самом пути, что и он до Петушков, встретил девушку, которой не было, а был только спирт,

табак и вонь из тамбура, а еще поганье в форме цвета рвоты, выбрасывающие меня из вагона с тем же Венечкой под мышкой. Озлобленного и беспомощного, одухотворенного, почти святого меня, ангела увидавшего, а после во сне разговаривающего с ним, прогоняли землю носом жрать, суки. А я им – о светлом, о темном, о полусладком и сухом, точнее, уже Ей. Помнила голова, зачем срубили посаженное моим отцом дерево под окнами дома, где провел свое детство, холодное и постылое, чесоточное мое, как и то дерево, мешающее всем вокруг дышать выхлопами и дымом вечного зарева урбанистического ада. Помнила, за что в моей юности Сашке из соседнего подъезда отрезали ухо местные бичи. Кстати, за драп. Точнее, Сашкину жадность. Ну, это была основная причина их недовольства, были и другие. А почему ухо? Тут Сашка сам виноват: серьгу серебряную носил. Больше у него ценностей не было – все скурил и по венам пустил. Когда дело пришло долги отдавать, его и наказали, забрали серебряшку вместе с ухом, чтобы наглядно было. После этого мы его Ван Гогом прозвали, а он нас убкками. Помнил я эти детские ужасы и недетские помнил; да, была в этом какая-то романтика, легкость и гармония, мой ум и лик был тому свидетель, глазами своими все видел и телом ощущал, а значит, жил. И живу, если помню, если было. А было ли?

Есть и странности в моей памяти. Не запомнила она даже названия этой местности, в которой ночевал я пятьдесят пять ночей к ряду в горах и под ручьями, жил с собаками и был сам себе поводырем, сам себе игрушкой-неваляшкой. Я терялся в названиях городов и сельских местностей, меня гнали отовсюду, страшного и большого, по делу и просто так, за вонь и хрип, например, за воспоминания, за медитацию без одежд и с сигаретой в зубах на кладбищенских холмах, – и вот я очутился в тишине. На берегу горного озера, холодного и прозрачного, как мои глаза, оставляю земельные разводы на воде, тешусь болью ледяною и ломотою в веках от вечного сна и пробуждения от него. Очаровательно: моя память даже не запомнила, сколько лет мне сейчас было, какой это значит год, век и мрак. Но помнилось количество выпитого денатурата и светлого пива в темных, вечно ночных кафе, где наливали мне в пластмассовые стаканчики, и еду тоже в пластмасску клали, видимо, чтобы выбросить по концу, не отмывать от моей грязи. Сидел там и думал, что умру от стыда или от тоски, а слева от меня коряво целовались школьники, запихивая друг другу языки в глотки и теряя слюни на глазах, утопали в них по колени. Справа – дальнбойщики выковыривали зубами грязь из-под ногтей и спорили о футболе, блядах и кровавых днях Союза, выпивая, не чокаясь, водку с перцем. Думал от унижения этого и умру, ай не дали умереть мне там. И на ступеньках окружной больницы не дали, где ждал, когда уже меня заберут, отведут в палату, дадут покаяться и сладостных лекарств в рот насыпят. Какая-нибудь молодая медсестра с красивыми ножками придет ко мне и споет колыбельную на прощание, даст себя ущипнуть или даже потрогать, поцелует в мои тяжелые, налитые свинцом веки и включит на проигрывателе ее любимую песню Дилана или Мориссона. Тут я скажу «опля» и сгину с улыбкой на щеках. И вновь не дождался, не дали улыбнуться до конца, так и ушел дальше, к холодным горам. А ноги-то сами привели меня в горы. Стало быть, и спать тут можно, и жить позволено. Было. Вот ведь как, не прошло и энного времени, как глаза открываться стали, как у младенца. Словно большущей рукой дал кто-то по жопе, зашевелился моторчик, и заиграла жизнь внутри организма, задницу жгло. Стал просторами захлебываться, природой и величием ее восхищаться. Музыка мне не хотелось, драпа и другой дряни тоже, людей не хотелось мне видеть так же, как и себя в зеркале по утрам, разве что эти тоненькие ее ножки, ах...

Засыпал я по принуждению, а просыпался по совести. Но это теперь, а раньше, раньше было. Когда грабали дворы молодые пьяницы, и целовали в губы уже усопшие цветы желтозубые, хромые женщины с фиалками на завтрак. Детвора морская, утопающая в вине спозаранку, что была крапленными картами судьбы молодых простофиль и клала их на перья, целуя на прощание в лоб остывший. Телевидение гнилое, просящее выброситься из окна в помойный контейнер и вещать оттуда, создавая эхо и соответствующий запах. Виды уныния и желчи

в подворотнях любых святых мест шуршали в глазах моих бумажными идолами, сожженными однажды заживо брошенным чьим-то окурком. Не давали они покоя мне, а хотелось спать – как в детстве – по два раза в сутки.

А теперь вот оно как: прошел утром вдоль заборов и калиток, умылся родниковыми водами, листьев неизвестных пожевал, поднялся в гору и выл там в небо, чтобы этому, как там его, слышно лучше было. Тогда и стал захлебываться чистотой и робеющей синевой, клюквой волчьей и пеленой туманной, всеми цветами ветров и соболиными глазками отчаяния. Видел я его, красивый. Да так сильно захлебывался, еле потом откачали меня. Чуть-чуть – и не стало бы. Откачали водкой. А как иначе.

Странное дело, несколько ночей назад умирать, а сейчас хвататься за траву, ощущать лишь касания тепла и пустой ночи в карманах, вставать и идти дальше. А куда дальше? Пропастей на пути не счесть, но лучше считать их, чем тиканье секундной стрелки на часах. Еще у больницы, думал я, что вот и настало время мое, венки подавайте молодости, грубости и человечности этого странного паренька в лохмотьях. Бросайте через плечо, как букет на свадьбе, поймаю, может. Делал я это и раньше, в смысле умирал. Вообще-то не могу похвастаться, что часто завершал начатое, однако, если сильно хотелось, так, чтобы аж свербело, дело завершал быстро и без упреков, почти моментально. А вот умирал я точно существенно медленнее своих предшественников, если таковые на самом деле были. Если были они мои. Трудно. Трудно понимать, когда нужно умереть, а когда стоило бы еще век прожить. Жизнь проста и нелогична, непоследовательна и губительна, а теперь выясняется, что еще и непонятная она. Трудно знать, почему болезни обычно губят незаметно, а раны мысленные заживают долго, но уверенно, как волчьи. Трудно быть мертвым, мне об этом в больнице врачи так и сказали, мол, не прокатит, вы же еще живой, а значит, вам за дверь, у нас тут таких не держат. Но я ведь еще живой, говорю, а значит, умираю! Умираю, говорю! На что мне главврач заявил, что лицо у меня очень даже ничего, с румянцем. Вот так медицина, бесплатная, завораживающая. Румянец, блять. А я и не знал. И пошел себе за двери, как и велено было. И не долго-то краснел, оказывается, потому как задыхаться стал. Может быть, все это от трезвой ночи почти над звездами, а может, и от горного воздуха, тяжести зоркого неба, песен поколений насекомых и птичек, мерзнувших тут, пася овец, пастухов и самих себя? Узнал я теперь, что умирать бывает и по-разному плохо, и хорошо, и совсем по-разному, по-другому можно не быть и быть все еще. А лучше и не бывает – подняться живым и плечи расправить после неминуемой гибели, и дальше пойти часы считать. Судья мне мой портвейн и хлеба крохи на бумаге, куда пишу, мол, смотрите, и снова жив, и снова тетради поганю кривыми буквами, как водой под лежащий камень ползу. И кричу белоснежной и темно-красной, – жив я, ЖИВ! А я – это всего лишь репетиция, еще даже не генеральная. Приходи потом, позову, не волнуйся. Да я и не волнуюсь.

Дом. Такое короткое и страшное, непонятное слово. Дом, что такое дом? Узнаю точно, когда попаду в него, но вам не расскажу. Знаю, каким должен быть он, но также тайну не раскрою, чтобы не нашли быстрее, чем я. Только лишь... Бывают такие домики, ухоженные и береговые, подкрашенные со всех углов, как игрушечные. Бывают гнилые, а запахи от них гнилыми не бывают, это только чудится, пахнут они детством и лесом, вечным лесом увядших незабудок. Бывают и шаткие, на ветру колышутся, карточные будто. Ехал я в электричке в город большой, которых больше и не бывает, в другой совсем дом, где стены и двери, и все вокруг пропитано табаком и обойным клеем. По дороге заблудился несколько раз понарошку и даже специально, покусался с псами бродячими, повалился на свежескошенной черным газонокосильщиком в юношеских прыщах траве, книг почитал и рубль подал цыганке беременной, за что выслушал в свой адрес проклятий целый ашанский пакет. А потом и путь стал гладким, и ноги не спотыкались о виды и мифы древней русской души, только безерки что-то пели мне вслед. Пели, а может и подпозывали за цыганкой, черт их знает, непонятные они.

Вернулся я в эту теплую и не мою тюрьму, без которой я – не я и тюрьма не моя. И тут уже умываюсь я в кране, цивилизация моя, удобства и простота, не забываешься ты, в генах уже с рождения сидишь, умеешь все, приспособливаешься. Такая уж жизнь: ко всякому дерьму привыкаешь, даже самому на вид привлекательному. Как говорил мне мой брат, родился в дерьме – всплывай, на солнышке хоть развоняться можно. Смыл бы все с себя, да уж больно нагло быть чистым, когда вокруг одна грязь. И не думал я, что по ней еще и топчусь. Но лицо умою, еще окажется, румянец не на месте, и что тогда? Что на это врач скажет? «Да, Алексей, пиздец вам, бледный вы».

А дома я у своего давнего друга И. (так как своего я еще не нашел), он вернулся из боя вчера. Нет, он не солдат и не выше. Да он так, бился с соседом за тишину после одиннадцати. Говорит, мол, спать охота, на работу вставать рано, жизни мало и так, а дураков, поди, много развелось, тех, что думают, что и после одиннадцати можно жить, пить и немножко пить. Вернулся И. с фингалом под глазом и бутылкой самогона в руке. И вернулся он домой дураком.

Я бы и сам не прочь вернуться домой хоть кем-то, но ждать меня не хотелось бы ни мне, ни другим, знаю точно. В особенности мне того ждать себя настоящего. А другие... Я о сожителях своих вечных. Видите ли, то воздух испорчу, то кран не выключу, а бывало и шкаф хламом забросаю по самый верх, что аж сыплется и сыплется, уже и плюнуть негде, если даже очень хочется плюнуть, обязательно попадешь в себя. Так и выжили меня блестящие, как любят вороны и девушки, вещи, запахи гнилого из холодильника, оплеванные полы и безэкономия. Были еще книги, да и к ним уже совсем не хочется: иметь дела с мертвыми не привык, это вон в похоронных бюро мастера, а живые теперь хуже мертвых разлагаются. Оставил я все на своих местах, кроме выроченной чьими-то годами пенсии и желтоватой бумаги с чернилами из киосков школьной канцелярии, пришлось еще взять пару одежд и ножниц, грамот за холодные сердечные дела и пайка на четверых. Думалось, а вдруг меня станет четверо? Пока лишь один прорезался, и тот полупес – со своими клыками и жилистой губой на сладкое и сухое красное. Еще пришлось расплатиться за все долги перед страной, мамой, папой, соседкой Валец, институтом, рабочим «колхозным знаменем» в цветах, женой, никогда не существовавшей, друзьями, когда-то существовавшими, но позже исчезнувшими почти бесследно, да еще и с бобиком со двора и парой тараканов с кухни. По итогу вышло следующее: отдал я 33 рубля 20 копеек, две буханки хлеба, восемь цветущих роз (два раза по нечетному числу 5 и 3, и было мне стыдно, что любил я кого-то на две розы больше), пять орденов и три дедовские медали с войны (было их больше, но еще в детстве я их проиграл в карты), сто двадцать три книги и невиданное количество времени, знаний и чуточку даже умений. Да еще иконку с крестиком серебряным у порога оставил, что не мне принадлежало, и принадлежать не могло неверующему. Говорили же мне, что должен, должен, всегда что-то да должен, а я так и не понял, кому, почему и сколько. Вот и отдал все, что было. Так бы еще и на автобус хватило, может. А, вот еще, любви себе оставил, было у меня немного, каюсь.

И двинулся я куда глаза глядели – не их, а мои собственные, в уверенности, что это-то хваленые собою же большие и определенно неопределенные, поэтому и злые языки не предвидят. Как же! По пятам следовали до самого поезда, что на Север ехать должен был со мною вместе. И ехал бы, а я бы постель уже застилал, и в тамбуре с мудаками курил сигареты без фильтра, и пил из банки ледяное привокзальное пиво, да ведь говорят мне вслед, что еще не все я отдал. Хотели отобрать у меня и то, что я еще сам не получил, что годы вперед мне обещала судьба, если верить этой дряни. Хрен с вами, тушу бычок, допиваю, разворачиваюсь. Пришлось сбиться с пути перед самым входом на вокзал и попятиться к автостанции – этого-то они не ожидали. Я и сам не ожидал. Путь мой как таковой (надеюсь, они были этому довольны) удлинился на века или уж точно на несколько селений и людей более, но пока время не оставилось, решил я, – будь, что будет, и не будь, что было. Время у меня еще есть, раз уж дышу и чувствую, что дышу, да и все пиво на свете еще не остыло.

чики и комары бились в стекло головами как камикадзе, летя к свету победы, а мы стояли там и горели несуществующим пламенем жизни. Я с босыми ногами, чистый и изувеченный, и мой последний друг, с фингалом под глазом и прыгающим цветным свистком от чайника в ладони, и смотрели на них, таких же маленьких и все еще таких же живых, как и мы. Я выключил свет, и они улетели.

2

Утром шел дождь. И не просто морось, а настоящий дождь. Крупные слезинки, как у обиженных малышей, капали с неба и ударили мне в капюшон, а я высовывался из окна и поднимал голову, языком ловил их, чтобы не разбились они насовсем, вдребезги. Жемчужные, холодные капли дождя и пронизывающий до пят ветер северный – так меня встречал мой первый день перерождения, думал я. Вот что получается – нет прощения непрошеным гостям, как собаке, не в ту будку забежавшую. А я и ошибиться мог, а вдруг затянулось мое песнопение херувимам и мольбы мои о раскаянии? А что, если сплю, и снится мне сон, что не сплю?

Была история со мною. Пришлось мне однажды заснуть, и так глубоко, от усталости быть может, что с поздней осени и до весны с кровати не сходил, лишь на пару шагов то туда, то сюда, не помереть чтобы. Вечные дожди лили тогда, как прорвавшийся душ, и не успокаивался никак, невозможно было успокоиться, так горестно ему было без меня. Многих дел тогда не сделалось, песен не спелось, книг не читывалось. Горел я месяцы, холодал столько же. Все цветы в доме повяли, яйца разбились и гречки истухли. Будто бурый медведь, спал я глубоко и заразно, попеременно открывая то левый глаз, смотря вверх, то правый, косясь на в окружение. Стаи блох грызли меня, пчелы жалили, путая с опасностью и своим кошмарным сном, дожди сменились снегами, и те горячили вначале, а потом совсем истаяли. Растаял и я, к весне самой принялся отходить от затяжного сна, шевелясь и пульсируя. Вышел тогда я во двор, покинув гробницу свою, да и немедленно обомлел: все такое же, как и тогда, в ночь, в которую засыпал, чтобы проснуться и увидеть совсем другое, другими глазами. Серое, треснувшее напополам небо вилось у воротника, уставшие хрущевки с облезшими, будто кожа от ожогов, кирпичами, робели в глазах, трава цвета смуты еле заметна была. А люди с пакетами, набитыми ничем, уткнувшись в землю, ходили туда-сюда, кто на работы, кто в лавки, кто – домой. Вечный путь, полный бессмысленности. Может, в их жизни есть много веселья и беззаботности, но отчего тогда они вечно такие мертвые на вид? Тогда и понял я, что не убежать мне от иуды моей страны, что живем мы все одинаковую жизнь, и жизни мы свои живем все тоже одинаково, что и сто лет назад, только с большими потерями. Тысячи лет не сменили бы вчерашнее утро, с этого места горам не сойти и дворникам не вымести всю пыль, даже счесывая асфальт своими метлами, и солнце все то же – холодное и низкое, и дети в подвалах, и улица, хлеб, завтра. И город уставший, и ветер вечный. Лишь бы один раз прожить, думаю.

С неба в тот весенний день падали такие же тяжелые капли дождя, что и сейчас. Что и тысячи раз до этого. Вернулся, блять, думаю. И я не первый стоял и говорил в своей голове об их тяжести. И не последний скажу. Однако различие было во времени, к тому же мой первый день начинался уж слишком долгим старанием, и стало быть, все должно идти дальше.

Через три дороги и детскую площадку у дома И. стоял магазин «Продукты» и аптека. Между ними то и дело можно было встретить стариков и пожилых женщин, продающих свежемороженые цветы, газету, фрукты и заграничные сигареты в золотистых пачках. Из-под полы, конечно. Сегодня здесь была только тетка поздней немиловидности и зрелой, еще узнаваемой, прищурившись, красоты. Она держала в руках лилии, откуда она их взяла в эту пору, думал я, может, у Хлои из груди вырвала? О чем теперь скорбеть Виану? Я протянул ей бумажку и взял две, она одобрительно кивнула. Одной лилии я оторвал шляпку и прикрепил ту к дырке у нагрудного кармана, вторую, в расстерянности и дрожа от холода, протянул даме со словами:

– С Днем рождения!

И величественно улыбаясь, скрылся в дверях продуктового.

Покой в нем был почти невесом, и тишина наваяла мне желание еще большее, чем когда впервые я целовался после школы в городском парке с голубоглазой Настенькой, прыгнуть головой в омут чего-либо лишнего такой же силы. Или хотя бы аквариум со щуками и оку-

нями в рыбном отделе на голову надеть да поговорить с обитателями его, а то рыбок И. мне было жалко: красивые они, глупые. К столу я взял немного еды, перцовой настойки с брусничным вареньем на закуску и открытку с поздравлением на обороте:

«Счастья и добра
желаю Вам! Ура!» – гласила она.

По дороге к дому И. купил ему мазь от синяков и пластырь. Проходил мимо кладбищенских, седых барыг снова, а дама с цветами плевалась и бросала мне под ноги: «Тьфу, больной какой-то, придурков развелось, рожают недоразвитых, а потом на улицы выпускают, таких машинами надо давить, ох, ох, мать». Провожала меня взглядом через дорогу, так и споткнулся у тротуара, чуть перцовку не упустил из рук. Мало им все, женщины, во всем мы им не правы.

– К черту идите, – говорю ей через плечо, чужого языка такие не понимают, громко смеюсь (меня научили, как, еще в школе пацаны постарше) и убаюкиваю свою шею в позорном хрусте, чтобы звучало веселее. Седая дама грустно замолкает после выплеска «Куда?» и жадно закуривает. Наверное, сына вспомнила.

Пить с утра не хотелось. Такое бывает: просыпаешься ты как в законсервированной банке или подводочной лодке, в абсолютной уверенности, например, что сегодня среда, а друг тебе спросонья говорит: «Пятница». И ты такой: «Как это, пятница?». «Вот так, пиздец», – говорит друг. И тут уже пить или не пить – уже неважно, все равно пиздец. А тут-то история другая, не ныряли еще, так, с вечера ножки помочили и улеглись на что попало. Но И. строго настоял на том, что на работу он не выйдет еще пару дней точно, потому как желания нет, сил тоже, да и стеснялся он фингала своего. Нужно было ему стыдобу проглотить, что комком в горле стала, а мне перевести дух и рождения день скорее забыть. И. умел пить, если можно вообще уметь пить. Оба мы в этом деле были выше всех похвал и извинений. Я пил с зеками, ментами, бродягами и бизнесменами, лысыми и женщинами, и с лысыми женщинами тоже пил, с детьми и детьми их детей. За долгое ли, но точно длительное время я понял, что пить могут все. Все, кроме стоматологов.

– Блять, – говорит И., – ты знаешь, оно того стоит, как тома Толстого по пять раз перечитывать, так и водку пить утром – стоит! Как моя бывшая жена стоит своего настоящего мужа, будь она неладна. Я к тому, что утро начинать с водки – это хороший тон, лучше и не придумаешь. Горлышко – уууть, стакан – тзынь, а слышать эту мелодию, будто слушать Баха вживую у себя же на кухне.

– Бахни под Баха?

– Фу, ну что ты хуйню всякую школьную несешь, противно же, лучше бы Рыжего цитировал и наливал быстрее, а то я еще зубы не чистил.

– Не люблю его трезвым цитировать, он же гений, а я – нет. И не бандит, и не влюблен, чтобы читать его без пьяну.

– Вот и я говорю, не медли.

И. весело плясал по комнатам, провозглашая себя счастливым и безработным человеком, обильно смазав при этом синяк под глазом аптечным лекарством и потирая руки, то одну с другой, то об штанину ладони обе.

– Салага, вас просят пройти к столу и уповать на святость этого утра, чтобы слова твои больше не казались лишь правдой, а светились ею.

– Слушаю-с!

Я разливал в стаканы настойку и думал о том, что это не водка, и мы обманулись. Похер, все, что прозрачное и 40 градусов – водка, только с добавкой. Как конфеткой торт закусывать. Думаю, И. окажется прав, говоря о святости утра, в котором нет ничего, кроме дружбы и тоски, как и его предсказание насчет «стоит того». Может, ему начать гороскопы печатать. К примеру:

Лев. Сегодня вам стоит выпить красного сухого и немного полтавской, чтобы день прошел и вышел. Водолей. Не прольете мимо стакана содержимое свое сегодня и удивитесь, как легко будет на душе, осознавая это. И так далее до бесконечного увертывания от похмелья...

Я бы их читал.

– Козерог, вам бы рога пообрывать да на стену повесить как трофеем за твою медлительность. Тзынь. Ах, твою мать, свобода.

Странное дело – гороскопам верить. Иногда есть такие, что и каждому слову верить станут, а зеркалу собственному – нет. Вот, стало быть, пишут, что будет, а как узнать, если не произошло это еще. Говорят, мол, удача свалится с неба... Думаю, вот у меня потолки вроде тяжелые и крепкие, сколько же удача моя весить будет, чтобы пробить их? А когда голуби срут на голову, это тоже удача? Или бутылка, из окна летящая, переобет так, что потом и в удачу поверишь, и в счастье, и в беззаботное будущее с трубкой вместо рта, гоняющей в желудок жиденькие завтраки. Не верю я в правду вашу, думаю, извините. А зеркало я на всякий случай стороной обхожу, как и окна под домами. Везде неправду вещают.

Говорили мне с детства самого, что не от мира сего я. Называли меня и больным, и юридическим, и дураком последним, бесились и оттого, что книги неправильные читаю, и что в церкви не хожу, а дома цинизму и культуре обучаюсь самостоятельно. Я точно комковатый блин, получил в свои семнадцать лет окончательную пощечину мировую – был изгнан. К счастью, мать родила еще сына, то есть брата моего, и мучения мои и семьи моей закончились – новый мученик и спаситель явился на свет. Перепрыгнул я все дыры в земле, пока убежал от вездесущего, даже спотыкался, не разбив лба, к счастью, а мне говорили, что стоило бы и разбить, и упасть, будто встану и нормальным стану. Кто из нас ошибался? А вездесущее предпочло мне другую сторону шага, и вот он я, постылый и безбородый (утром брился, пока И. спал), целехонький снаружи и пропащий до глубины внутри. Чистый зато, потому что бессовестно одинокий. И влюбленный в память, и образованный, и гордый, но к тому же новый, и живой – как всегда.

Много умалишенных встречал я по дороге в госпитали и психиатрические больницы, когда меня ковали и бросали в них, а временами выпускали на улицу на полчаса прокашляться от табака, однако стыда не отрицая своего, слыл я их наставником незаконным и всеобщим признанным, ненависти переполненный к ним и к себе самому. Попадал я, однако, сюда по закону, однажды ударив преподавателя иностранной литературы за грязные высказывания в сторону литературы русской и современной. Я плевался на кафедрах филологии для прокаженных соплями, грубил и цинично молчал в адрес идиотов с корочками научных сотрудников, устраивал митинги и перфомансы в честь гениев, забытых и задавленных цензурой. Меня избивали сначала в милиции, через книгу били, чтобы синяков и царапин не оставить (через Архипелаг ГУЛАГ, суки), а потом и вовсе кинули в белый дом и вливали успокоительные в глотку, чтобы молчал. А мне все не молчалось, мне было интересно, что станет со мной и с ними после такого безобразия. Я как постыдная болезнь: некоторое время мешал жизни уважаемых людей, да и не очень уважаемых тоже. Успокоились скоро мы. Более того, однажды по воле своей пришел я все в ту же больницу и помощи хотел получить от тайны спокойствия и благодетеля, не знакомый с ней и желающий знания. Обманулся и, сам того не зная, стал я для остальных обитателей больничного дома спасительным умиротворением. Говоря с каждым на равных, я являлся им и другом, и матерью, и психиатром, а некоторые возлюбили меня как мужа, сына или последнего пророка веры и первого – атеизма.

И стало это подобием отреченности к жизнедеятельности запредельным и выгодным пороком души моей. Я читал больным и недоповешенным стихи, слизанные с заборов, душил их мировыми тайнами через подушки и Ерофеевской правдой мною возлюбленной. Особенно внимательно слушали меня, когда читал я по туалетам и проходным комнатам Вальпургиеву ночь Венечки, и, узнавая себя в героях записок автора, сокамерники мои восхищались глуби-

ной мысли автора, а вместе с тем и мной, эту мысль гласно изрекаемым, и собой, уразумевшими мотивы мои и желания. Да что уж там, я провозгласил себя целителем и первопроходцем поколения гениев психиатрической больницы, цитируя Кукушку Кена Кизи, Палату номер шесть Чехова, Нежную ночь Фицджеральда и Школу для дураков Саши Соколова. Мы все с ними были олицетворением вопля о взаимопонимании, и я, такой же, как и они, ненормальный и опасный, стал лишним в их окружении, молча больше всех о изгнании. Они заменили меня книгами, как однажды я заменил ими же все существо свое и чужое. Недолго пробуждался я от глубинной яви, заявив самому себе, что прекращу сиять, и в грозди гнева превращаясь, и на себя одного упоая, все завоевания свои отдам на растерзание рук жадных. Так я стал писать.

Меня выпустили из больницы после шести месяцев лечения за отсутствием во мне болезни более, как они выразились, и опасностью не стать социальным подданным, точнее сказать, современным человеком. Но что такое человек современный и сознательно-общественный, думал я? Хуже животного, не иначе? Точно не я, полный ненависти к человечеству и любви к нему, не мог я быть его частью. Трудно оставаться настоящим, еще труднее быть человеком философского склада ума и с нарицательным именем в паспорте и белом билете в нажопном кармане. Хуже и не придумаешь. Это как, ну вот идешь ты по лесу, усталость вдруг почувствовал и хочешь лечь на траву спиной, отдохнуть и на небо смотреть и спокойно быть. Человек современный сочтет это желание неуместным, вроде как испачкаю куртку, в глаза пыли насыплется, а еще хуже гляди, заметят глаза чужие меня и высмеют тогда. А если же брать в пример не лес, а улицу оживленную? Один ли из тысячи (или меньше-больше?) позволит себе действия такие, а не мысли, и желания свои определит как рациональные, достижимые и в первую очередь логично-последовательные. Остальные отвернутся, ускорят ходьбу, будто спеша от самих себя и мыслей дурных в голове, погоняя глупое в сторону (обычно в сторону метро). Стыдясь быть настоящим и делать то, что хочется делать, а не наоборот, в пределах дозволенного, современный человек становится планшетным, искусственным разумным существом, теряя свои инстинкты и сладость любознательности в себе. Поэтому и нет у нас героев нашего времени, и когда пиздят кого-то во дворике, никто из проходящих мимо не подойдет и не поможет бедолаге, разве что помогут пинать с удовлетворением. Так писателю или поэту жить с самим собой еще тяжелее, притворство в нем не должно существовать ни на йоту, даже среди гнилых и беззубых бомжей валяясь, о которых он и будет писать свои книги. Однако в писательстве оставаться социальным получается слишком редко, разве что когда автор пишет приключенческий роман или биографию. И то, и другое – паршиво. В остальных случаях это кропотливый, если хотите, труд, которым должен заниматься человек вне поля зрения самого себя, а еще и в отсутствии хотя бы одной пары глаз и щек. В полной отреченности и только с самим собой. Не обречен ли писатель на муки? Не в безвыходном положении ли находится он, выбирая себе этот путь? Рано или поздно, в зависимости насколько тот по серьезности и существу занят своим трудом, он станет асоциальным, мучеником времени, изгоем и бесправной душой. А я ни теми, ни другими не являюсь, да и мне тяжело прыгнуть на асфальт и остаться лежать на нем, смотря в небо, где-нибудь на Красной площади или в стенах супермаркета. Засмеют ли? Не только, могут и избить, и в тюрьму белую отправить снова за безбожие и асоциальное поведение неадекватности, чужака убьют наконец, и станет им легче. Нихуя, я еще мало вас вывел под плаху, выстраивайтесь в очередь. А еще сложнее заниматься письмом на глазах, скажем, соседа или даже лучшего друга. Слишком уж процесс интимен, как мастурбация или бритье подмышек. Но не откровеннее молчания перед самим собой в первые минуты суда над тайной и новой жизнью.

Подводя итоги (а именно луская последние семечки на пропахший лаком и спиртом обклеенный газетами стол), я подумал о том, что психиатрическая больница научила меня быть еще более несовременным и не своевременно совершенным. А еще более – она научила меня

принимать решения намного проще, не думая дольше самого обычного полноценно свободного человека. Так я стал вновь несвободным. И продолжил писать немного пьянее обычного.

*

Пили мы как литейные рабочие после ночной смены – горячо и изящно грустно. И. довольно хлопал губами, напевая песни своей молодости о жизни моряка, неудавшегося впоследствии человеком. А звучало это примерно так:

«эх, море, море, море,
я от тебя далек,
зачем ты меня,
море, швырнуло за порог»

или

«нет на свете слаще вод
тихого соленого,
хоть соленая, да вот
точно не паленая».

Я сидел напротив И., завывая себе под нос что-то сладостное, отчего хотелось дремать.

А он рассказывал о крейсерах и морских утесах, моллюсках портовых и урюке южном, сладких винах Испании и горькой сибирской настойки на медвежьем ногте. Такую он мне однажды приносил в палату, и мы пили ее, и сквозь наркотики и хмель видел я повсюду медвежьей лапы, и за окном блуждали тени, водили хороводы психопаты с отвисшими челюстями и оборванными носами, пели великолепные стихи и выли музыку. А мы бросали в них окурки и выстраивали в ряд голосами командующих, и те, как солдаты, безмозгло подчинялись, а после шли подмывать сортиры, поливать цветы, учить новые матерные слова, короче, жить почти в удовольствие. Потом отпустило, и меня снова отпиздили санитары, а И. выгнали за забор и больше не впускали.

Мы сидели друг перед другом и понимали, что все прошло и вроде бы закончилось хорошо. Моряк худел на глазах, выпивая залпом одну за другой. А я хотел уплыть туда, где не был мой друг даже в мыслях, а не ворочаться во сне на другой бок, сны переворачивая, как страницы нелюбимой книги.

– Языка я не учил, – говорил И., – ну, не получается у меня, русский я, могу, блять, матом разговаривать одним, могу морским языком, могу зековские словечки выудить, а вот иностранщины – не могу. Тогда английского языка не все учили. Только пока плывешь себе, плывешь, случайно начинаешь сходить с ума от однообразия и скуки. Вот я и принялся читать по 10 иностранных слов в день. Нашел в каюте словарь англо-русский и читал себе по вечерам. А когда в городе на сушу выходили, то я принимался с торговцами на этих 10 словах разговаривать и местных слушать, что они там лепечут себе. Страсть как хотелось понять каждого. И понимал, конечно, на уровне умозаключенного, понимал инстинктивно. Потом чувства и мысли их мог предсказывать. Но не более, глубина языка, кажется, отвергает меня. Понимать я хотел только их культуру и быт, да и так все видно, без пиздежа. Но тогда я слушал внимательно, и привлекали меня больше звуки этой мелодии, чем ее смысл, и строил я в своей голове картины блаженных пассий, будь то итальянские красноречия, или рембрандтовские натюрморты губ, когда я слышал французов. Любой язык казался недосыгаемым, но чувствовался близким, когда я слышал его и воссоздавал картины у себя в голове. А вот слово «А?»

или «Ха?» звучало на всех языках одинаково, замечал? Никто никого не понимал и каждый переспрашивал другого. Так и строятся знания.

– И что в итоге?

– Ну что, английскому я так и не научился, равно как и другим языкам, а думать стал. И стал думать только на своем, русском. А потому что нехуй лезть туда, где даже рыгают по-своему, с изяществом и пардоном. Свиньи какие-то, не то, что у нас, не стыдятся. Так а пить на любом языке всласть, вот что!

– Особенно по утрам, – добавил я и наполнил стакан И. до края. – Лимончиков жуй. Это тебе не ананасы, не портовые шлюхи с помадами цвета их неба, не тихий соленый, зато кислый, как родина наша. Точно тебе говорю. Я пробовал.

– Пробовал родину на вкус?

– Ага. Да каждый пробовал, если ездил в поездах в плацкарте, пил чай со вкусом хлорки и выл за окна о красоте зданий с надписями «Водка» и «Ритуальные услуги». А вообще, когда живешь на улицах и в природах, не только родину попробуешь. Все ее крохи и деревянные скамейки с жесткими спинками, а заднице еще и холодно в придачу под ними. Пробуешь жить как птица с крыльями подбитыми. И тебе все улететь не дают, держат, ломают крылья снова и снова. А ты покорно в пол глядишь и хлеб клюешь.

– А шлюх портовых я люблю, красивые они, – посмотрел И. вдаль мечтательно и не слушал меня.

Комната И. завораживала. Мебели почти не было: у стены книжный шкаф, на полу матрас, там же ноутбук и старый патефон с пластинками, лежат рядом и спорят между собой, кто нужнее. Не выигрывает никто. Шторы отсутствуют, как это обычно заведено в любых квартирах, зато повсюду висят лампочки Ильича на проводках и красиво светят, как маленькие солнца. А еще проектор на потолок лучом своим бьет и показывает немые фильмы о вечных скитаниях человека в самом себе, и от этого тело только успокаивается, находясь, хоть и ниже всего этого, но не в нем, и бродит само себе, и наблюдает.

– Птицы летают, а человек? Куда ему деться от самого себя? – И. перебил густую тишину и стал вяло жевать надкусанный лимон, собирая из салфетки самолетик.

– А человеку никуда не деться. Он на то и человек, умное существо, но недоразвитое. Горя в нем много с рождения, смерти много. Вот он за ней по пятам и бродит по привычке. А свернуть и по другой дороге не решается пойти, а вдруг там враг? И его как малого ребенка за руку вести приходится. Или пинком под зад помогать.

– А как же быть тогда с собою? А если полететь? Как птица, в далекие края.

– А чем дальше, тем темнее. В небо посмотри. Что видишь?

– У нас тут свое небо. А вообще, солнце, облака всякие, синеву. – Вот, а за ними-то что?

– Не вижу.

– Вот и я говорю, не видишь, и интересно, что там, но страшно. А вдруг там то же, что и тут. Те же облака, только вид сбоку. И куда летят все эти птицы, а за ними и женщины в фетровых шляпах и мужчины-эмигранты? – я смотрел на И., уже изрядно окосевшего, и тот, представляя себя то ли романтическим героем, то ли политическим эмигрантом, тихо прошептал: – Любовь?

– Тьфу.

– Ну что ты?

– А я думал, все летят туда, где солнце выше и люди добрее. Где социализм построен, так сказать. А ты мне тут любовь, любовь.

– А что же, за нее только пить прикажешь?

– Пьют за здоровье, а за это – выпивают. Вот ты, как и я, был женат. И что?

– А что, а ничего. Дурак был, а она умнее. Самая умная женщина на свете, поэтому и ушла к богатому журналисту-телеведущему. Хороший парень, кстати, как-то в рыло мне дал,

зато за дело. Теперь в пирогах клубничных и шампанских десертных купаются оба, кайфуют. И не любят, конечно, зато живут. А для меня любовь, ну, другое. Это когда ать! и колет, ноет, верещит, и никаким шампанским не затушишь.

– Точно. А еще, бывает, екнет – и в монумент превращаешься. Только и думаешь, лишь бы кровь по венам опять побежала. И в глаза ей смотришь, а она в твои, и не хочется улетать на юга или в деревни, лишь только смотреть в них и видеть то, что, значит, произвело нас всех на свет и главным должно быть. А мы? В бутылку смотрим и видим то, что убьет нас скорее, чем воскресит.

– Может, мы влюблены в смерть?

– Поэт, блять. Свинья ты, а не поэт, ноги с простыни убери.

– Да че ты?

– Это мамины, а ты в ботинках, какого хуя, кстати?

– Так мы же собирались в магазин идти. За едой.

– Давай не сегодня, фингал еще не слез мой... У меня там еще какие-то креветки остались и виски бутылка, пойдет?

– Ага, пойдет, как говно по трубам в море. Романтика!

– Помнится мне, стою я на балконе и курю какой-то уже пожеванный табак, вниз на ночь подножную гляжу, а там девочка стоит на своем балконе. Вышла такая вся в белом, халате, а не тапочках. И свечки поджигает, и сидит себе, курит тонкие сигаретки. И мне так за нее романтично стало. Противное слово такое, на деле выглядит нелепо и неправдоподобно, а нравится всем.

– И что нам с этим делать-то?

– А выход, кстати, всегда один. Из всех безвыходных любовных положений.

– И какой же?

– 250 грамм бархатной и стихи любимой. Совмещать, так сказать, приятное с полезным надо.

– С бесполезным, скорее.

– Да пей ты уже...

После мы долго молчали, каждый о своем. И., наверное, плавал в своих соленых морях, такой весь молодой и красивый, в тельняшке и с татуировкой на плече по малодушию. На нем была выбита женщина в каске с наливными грудями, совсем как его будущая уже бывшая жена. И возможно, пытался изъясняться с продавцами орехов и приправ на ломаном английском, повторяя одни и те же пару заученных слов. А после с веселой улыбкой и хрымим взором вперед шагал в сторону красивых девушек в летних и легких сарафанах, ярко рыжих или белокурых, как морская пена, с большими карими или голубыми глазами, впрочем, всегда они были разные, но одинаково прекрасны. И говорил с ними, спрашивал про погоду и цены на ананасы. А те едва ли могли понять его, но улыбались, и, кажется, все были счастливы. Долетели, думали птицы. Улетать никуда больше не нужно.

Ах, женщины. Точно потусторонних сил знахарки и матери всего живого. Смотришь на них и восхищаешься каждой. Вот одна, черноволосая и страстная, как цыганка или кабардинка, проходит мимо, оставляя после себя тонкий лоскут такого же темного и сладкого запаха, и ты понимаешь, что уже влюбился в эту красоту. Завораживает ощущение полного отсутствия контроля над собой, чувства светлого и беспомощно ясного. А тут вдруг слева еще одна, яркая, словно Каспийское море, в красном платье до коленок, волосы распущены. И та уже пахнет больше кокосовым молоком и лаймом, и похожа она на всецветный бутон, вечно сияющий и дышащий глубоко-глубоко. И думаешь, ну что ж поделать, и тебя полюблю. И тебя, прелестная финка у кафе с мороженым, и вас, леди, так громко ступавшую по тротуару, стуча каблуками в такт моего сердца. И ту, и вот эту, и... ах, цветы жизни, спящие так долго, и нет их

месяцами, годами, зимами холодными и веснами недospelыми. И нет вас более нигде и никак, лишь, когда ото сна отходя, сам и вы сами глаза откроете, и любимыми снова вы станете, а я любящим. И снова начнется игра в гляделки, шорохи и громкие возгласы, короткие миги счастья и долгие мучения после. Любви на всех хватит, думал я. Не хватило.

3

Золотое время мое? Проспал ли я тебя, или было ты не так светло и ярко, как называют тебя? А может, у каждого оно наступает в разные годы жизни? Пропустил, не заметил или виду не подал. Когда мои сверстники играли в футбол по дворам или делали замки из песка, я воровал хлеб в гастрономе и курил бычки на последнем этаже своего подъезда. Был и футбол, и пески, только гораздо раньше, чем это было у них. К 15 годам во дворах меня обходили стороной и тыкали пальцем «это он, он», а я всего лишь был пьян и шел к заброшке читать Эдичку и восхищаться его лютой любовью в песочнице с негром. Романтика была для меня престраннейшим делом. Я не ввязывался в дурные дела и не был в плохой компании, я делал все сам, сознательно никого не слушая. Когда подрос и уже ходил в старшую школу, стал много читать, тогда-то и узнал я, что хулиган может быть кем угодно, даже поэтом. В особенности поэтом. Теперь в магазинах я крал канцелярию, бумагу и ручки, а иногда и портвейна бутылку удавалось вынести. Все тогда крали – и далеко не от хорошей жизни. Я же уверен был, чувствуя себя Робин Гудом, что ничего плохого я не делаю, лишь разрушаю моральную ценность государственной идеологии и разрываю свои оковы школьного промывания мозгов. Вроде сейчас я украду это все, напьюсь, а потом поэму напишу, и мне за это спасибо скажут, а если спросят, как я ее написал, я обману, что трезвым был и о них, о людях, думал. А если правду скажу, так забудут про меня и сотрут имя из паспорта, посадят или сожгут. Поэму, конечно, не меня. Отчасти я был прав во всем, что делаю, но выбрал не лучший способ доказывать что-либо.

Так вот я стал писать стихи. Подолгу бродил я после школы по улицам своего мрачного и престранного района с финским ножом в одном кармане и опасным лезвием в другом и искал я идеи, мысли, глубинные фантазии, я искал стихи. Даже тогда, выкуривая по пачке сигарет в день, я усваивал из непонятно откуда взявшейся информации намного больше извне, чем на уроках или дома, за телевизором или того хуже в разговорах с родными. Я искал стихи, а находил пиздец. И резали меня, и били, и целовали, и поили. Я читал на крышах книги и пил бадягу, слушал кассеты с первым постпанком, джазом и другой необычной, как мне казалось, музыкой, которую мы с бродягами и лысыми пацанами отжимали у культуристов. Я чувствовал себя героем романа, шагая уверенно вперед и смотря во все глаза, выражающими злобу. Не было никакой надежды, здесь ее нет, и теперь не может быть, нет никакого света в конце тоннеля, а если и есть – значит, поезд мчится на тебя, беги, кролик, беги!

По сути, я был бездомным псом, воющим на бумагу. Одному такому псу в нашем дворе местные вспороли брюхо и смотрели, как он со своими же кишками играет в догонялки: они от него убегали, а он их догнать не мог. Так и проиграл. Я к тому, что за стихи в нашем районе и в моем окружении можно было лишиться важнейших органов жизнеобеспечения. Если стихи были плохими, конечно же. Поэтому долгое время я их не читал. Стихи стали получаться лишь через годы. Откровенности им было не занимать. Отчего многие из них до сих пор не дожили, были потеряны или навсегда забыты, будто их и не было, некоторые подарены, некоторые ушли в могилы с друзьями и важными людьми. Я был как Рыжий, как Жан Жене, как Чудаков, читал вора и убийцам, а те мне за это наливали вина и отстегивали от общака. После бандитов перестреляли, СССР развалили, молодость пропили и проиграли в карты, а я остался, как и был – крутиться на месте, ловить руками свои кишки и писать. Далее были чтения на публику, краснощекие девушки, виртуозно охающие после каждого произнесенного мной слова, мальчишки, чуть менее заметно восхищающиеся происходящим, ну и конечно, бесполые, которых видел я впервые. В общем, полный пиздец. Я не раз еще купился на подобное, каюсь. Потом сборник, минимальное признание, любовь. Я уже не был хулиганом, стихи становились все более нежными, и руки, которыми писал я их, казались мне изящно женскими,

а не потресканными и резаными, сжимающими кулак. Это казалось невысказанным и простым, однако завораживало сильно.

После этого было многое: работа грузчиком и станочником, уборщиком и кладовщиком, вором и санитаром. Учения, свет вокруг, темнота изнутри. Друзья, подруги, выбитые на раз зубы, стоматолог. Не от ярости уже, более, от стыда, месть. Стихи остались, но были злыми, болезненными, смертельными. Я оживил их, не превращая более в иллюзию. Я оживился сам, но кроме себя не чувствовал я ничего и никого. Кроме своих же придуманных жизней. Бумага стала невыносимо бела. Я убежал. Где было грязно и сыро, тихо и ветрено. Оставил я все. А приобрел?

Недавно ехал было я в троллейбусе и слушал, как отец сына отчитывает. Говорит ему: «Зачем ты хлеб из магазинов крадешь? Дома свой хлеб есть». А сын ему и говорит, мол, отец, дома ваш хлеб лежит, а моего там ничего. Ничего не осталось, думал я, что должно было быть со мною вечно, ничего. Зачерствел?

А еще встретил я друга детства однажды, он мне в автобусе на ногу наступил, а я давай в драку лезть по привычке. Так и заобнимались, пошли выпить, все дела побросали, чтобы побрататься и вспомнить былое. Вспомнили и шрамы оголили, и любовью прокляли в очередной раз, и даже умудрились ларек по быструхе ограбить. В общем, все как раньше.

Вернулся домой, точнее, должен был ехать на работу, а почему-то вернулся домой. Там ждала меня у плиты девочка, варила что-то несъедобное и вонючее и читала мои же книжки. Вон отсюда, говорю.

И все сразу стало на свои места. Ничего из памяти не денется, все мое – оно со мной, и все в порядке.

*

– Какие уж там Босфоры и Байкалы? Вот у меня ванная вся в пене, и так хорошо, когда соли морской посыплешь полпакета, сразу ветер подымается, и ураганы бушуют, моряки напиваются в хлам и поют о своих молодых женах, а я по собственной воле становлюсь их голосом и пою с ними, понимаешь, пою! Так и сутки могу – петь и топиться – а еще пить за отважных и тех, кто не доплыл. Вот она, романтика двухтысячных: однокомнатная квартира, набитая книгами и пустыми бутылками вина, недописанными рассказами и дырявыми одеялами, да еще и этими пенами и солеными ваннами.

И. смотрел, как дрожали у него руки, и поочередно выдирали кривыми ножницами кусочки ногтей. Я смотрел в угол кухни, туда, где висели портреты его родственников, фотографии его, маленького и еще совсем святого, но более меня интересовали иконы, что возвышались над всеми этими бумажными людьми. Вера, думал я? На И. это не похоже.

– Зачем это тебе? – кивнул я головой в сторону икон.

– А это... от матери осталось, они ценные, некоторые даже древние. Слушай, а давай пропьем одну?

– Хочешь найти дурака, который бы купил у тебя Бога за бутылку? Тут же все поголовно боятся, что у них от таких грешков второй подбородок вырастет, да и не где-нибудь, а под носом, например.

– Тут ты прав. Но вот наркоманы-то все тащат и продают, и нормально.

– Да нихуя не нормально, И., у них-то ломка, а у тебя – высокое искусство почти. Пить надо уметь, а ширяться уметь не надо, сам же знаешь, видел все.

– Видел.

Мы провели в его квартире уже трое суток, лишь однажды выйдя в магазин заправиться на последние. У нас не было плана, лишь боязнь, что скоро закончится это самое последнее и нужно будет что-то предпринимать, решать, когда это было вовсе неуместно.

– Слушай, пора нам убежать, – сказал я. – Пел кто-то, помнишь? «Все двери открыты, а мы по привычке ищем ключи». А зачем? И так успеем сгнить. Я вот родился снова недавно, как казалось, а стался только хуже и печальнее.

– Может, в этом твое предназначение? Умирать и воскрешаться снова, становясь хуже обычного. А после еще и еще. До тех пор, пока самому не опротивеет воскресение?

– А если уж не получится однажды переродиться? Что тогда? – И. недоверчиво смотрел на свое отражение в кусочке экрана ноутбука.

– Тогда тебе пиздец. И начнется он скорее, чем мы сможем допить эту бутылку Старославянской. Может, назад, в горы, где я тебя нашел и подобрал как куколку, тревожную и сырую, а? – ехидно. – А если то было место твое? И я у тебя отобрал его? Что будет со мною за это? Кто станет отвечать за меня перед Ним? – он ткнул пальцем в угол комнаты, где висела неудобная память и страх.

– Не придуривайся, и так тошно. Да я и отвечу за тебя, И., скажу, что ты хотел как лучше. А более всего, лучше замолчу. И не отвечу, если спросит что-то еще. Нет, нет, не нужно. Еще, смотри, веры вашей нахлебаюсь, расскаюсь, и назад уволокут меня, и стану я для другого человека, как ты говоришь, куколкой тряпичной, найденышем в снегах. А мне покоя бы. И лежать там до скончания времен, травой зарости, солнцем обогреться и птицу накормить собою. Или другую живность. И стать их частью. И лететь, бежать, выть и клекотать не своим голосом, и стучать внутри сердцем и душой. Как быть еще, если так трудно скрыться, потеряться, чтоб не нашли тебя?

– Все равно они найдут.

– Да не верю я в них, я в эволюцию верю, точнее, доверяю.

– А пить-то с кем тогда будешь?

– С тобою, И., найду тебя, примчусь голубем к окну твоему или дворнягой там прикинусь, найду тебя, обоссу тебе ногу, и ты поймешь: «свой, чую», и все, одинок не будешь.

– Тогда я буду одинок еще больше, если не услышу монологов твоих ненормальных, а от своих лишь тошно.

– А тогда другая псина придет и нагадит на туфли, не беспокойся, нас много, и мы все одиноки.

– Потуши лучше свет. Ночь с днем поменялись местами, как ленивые работники труда сменами меняются. Моя, кстати, сейчас бы только закончилась. – Это мы засиделись и путать их стали. Включи музыку. Пиксис, например. А то только и слышу, как ты смердишь и разлагаешься.

– Не от меня это, носки нужно постирать просто.

– И ноги, ага, и всего тебя с головой в бак запихнуть и отмыть до белоснежной улыбки, – мы смеялись и тихо курили. – Вот, пошла, дорогая. Бин траин ту мит ю. Хей.

Они выдыхали дым в потолок, тот его сперва вылизывал своим большим языком, а потом оседал и вырывался в окно, где был туман, и дым становился с ним одним целым. Туман дубел и покрывался невидимой паутиной соблазна упасть им, людям, снизу на головы. Объять их, обнять.

– А пойдем встречать Новый год? Прямо сейчас. Не важно, что до него еще далеко. А, Леш. Мандарины, елка, гирлянда, фонари, украшенные красным и белым светом. Мы откроем шампанское, будем считать вслух секунды и ровно в полночь выбежим на улицу, будем кричать поздравления прохожим, кричать им в лицо их же желания и мечты, которые все равно не сбудутся. Я так давно не радовался этим мелочам! А? Да. Или сядем напротив друг друга, закроем уши и будем говорить абсолютно все, что думаем, не теряя ни единой мысли.

– А мы так и делаем, не правда ли?

– Нет, не так. Знаешь, как по договоренности. Без единой капли стыда, без совести и без завтра, давай? Войдем в транс, будем танцевать, петь на несуществующих языках новые интер-

националы, новые гимны, признания в любви и ненависти, новые откровения, божественные, как человек, и бесчеловечные, как Бог.

– И так, чтобы он нас увидел, чтобы почувствовал, насколько сильно мы желаем жить, да?

И. уже не слушал меня, точнее он слышал лишь вибрации наших голосов, вплетающихся друг в друга и становящиеся единым целым. Ала-ала, кхали-кхали, табу ра, ирми-ирми, ала-ала. Боом, бооом, птыц. Руки трясутся в танце, ноги в танце, голова и уши, волосы и глаза – все в едином танце крика безголосого, теплого янтарного хлада бездушия. Кажется, дьявол был тоже с нами, где-то между двумя телами, на выдохе он плевался огнем, и мы пылали. Я был здесь, я существовал. Но и не был здесь.

Я был где-то далеко от дома. Дома И., своего, дом был мне не по пути. Так вот, я оказался там, в этом самом «далеко» после того, как Ты ушла. Ты уходила от меня, забирая с собой все, что я любил. Последним Ты забрала у меня друга. Взяла его за руку и ушла. Я вижу ваши спины, твою последнюю улыбку. Вижу, как торчит маленькая новогодняя елка из пакета, который Ты держишь в руках. Вечный праздник уходит. Дверь закрывается. И никто не оборачивается, нет, это же не кино, это даже не сон.

Теперь я в скалистых горах топчу фиалки и чернику, убегаю от огромных москитов. Над моей головой перевернутые небоскребы Нью-Йорка, Манхеттена, Сан-Франциско. Как будто планета извернулась, сплюснулась, лопнула. И небоскребы не падают на меня, а я на них. Они лишь стоят, а я смотрю им в их большие светлые глаза и восхищаюсь. Я смотрю на горы перед собой и кричу хвалы им, все, которые знают мои губы. А после я сажусь на камни и понимаю, что не увижу больше звезд над головой, ни в разрезе неба, ни где-то еще. Они теперь с другой стороны дорог. И мне становится. Никак мне не становится, я просто это осознаю. Еще вдох, еще танец.

Я оказался совсем не тут, слишком далеко, впереди, как мне казалось. Я занимался угоном чужих машин, крал продукты из супермаркета, читал книги в притонах у блядей на глазах, голых и извивающихся, как черви, в которых втыкают ножи один за другим. Я убежал от здешней полиции, мчался на седане через плавящую головы жару, решил бросить машину. Выскочил где-то у моря. Солнце в этом «далеко» намного ярче, чем оно есть на самом деле. И морем пахнет, соленым, цветущим, но таким чистым, не как у И. в ванной. И песок зарывает ноги при каждом шаге. Растут самые яркие звезды днем и иногда не только на небе. А природа – ничего ярче ее мне не приходилось видеть. Здесь.

Я бегу, а птицы кричат мне вслед, восхищаясь или насмехаясь над моим существованием. Они подбивают меня бежать еще быстрее, хотя я уже скрылся от преследователей. Остановился где-то на краю земли. Дальше она превращалась в воду, не спешащую никуда, напротив, мертвую. Вода замерла, как когда батарейка в часах останавливается, а время больше не идет ни вперед, ни назад. Оборачиваюсь. А там...

Вижу большую лестницу, ведущую куда-то вверх. Я хотел было подняться, но сверху спускалась девушка с ребенком. Боже, как она была прекрасна, не молода, но и нисколько не стара пока. Одеты она была в черное вечернее платье, строгое и нежное. Я не могу разглядеть ее лица, солнце бьет прямо в глаза. Ребенка она ведет за собой, держа за руку. Он совсем кроха, не старше 5 лет, волосы светлые, он так был похож на меня в далеком моем голубоглазом детстве. Он молчит, а увидев меня, отворачивается.

Вот они спускаются с этой крутой каменной лестницы вниз, прямиком ко мне.

Я протягиваю девушке руку, чтобы помочь ей спуститься с последней ступени. Она смотрит на мою ладонь, пристально, внимательно разглядывая что-то, не берет руки. Потом переводит взгляд в сторону, шепчет что-то вроде «просветленный» и хватает мои пальцы, читает молитву на неизвестном мне, несуществующем и вовсе языке. Ее зрачки исчезают из глазниц, лишь белые пятна смотрят на меня. Ребенок расплывается, она расплывается вместе с ним. Я

падаю. Скатываюсь по стене из лиан вниз, на холодную землю, и плачу. Плакал так, будто бы только что умер, и смотрю на свою жизнь со стороны. Я сползаю вниз, как слеза по щеке, и сил у меня хватает только на то, чтобы оплакивать, кажется, самого себя. Я сам становлюсь своей собственной слезой, и иссякаю я.

*

Я прихожу в себя от ужасной жары. И. забыл выключить отопление, что стоит на отметке «максимум». Меня будто только что достали из печи, так я горю.

И. бормочет еще что-то в углу, забившись, в экстазе заблудившийся в нем. Что-то шепчет, в новогодней шляпе поверх сальных волос, я пытаюсь понять, будто вспоминает, как нашел меня. А после И. уснул и видел скорее сны, где он был собой, а я был рядом и был той самой птицей или псом, грызущим его штанину и скулящим на шумный старенький холодильник. И. стоит с разорванной брюкой в луже мочи и улыбается, дуралей.

Курю лежа на полу и думаю о том, что мы совершенны, когда мы живы. Мы прекрасны, хоть и бессильны в чем-либо, если честно. И нет никакого Бога, разве что он такой же, как и мы, только немного хуже. Но он такой, он обезьяна, как и я, как и мы все. Жарко-то как, как там ваш Бог в пустыне-то не подох, евангелисты, а? Фууух.

*

Начинался новый день, рассвет бился под ногами тенью, проникая все дальше к стене. Там, в углу, медленно, но уже почти-почти просыпались фотографичные старики в костюмах, родители И., целуя друг друга в щеки, и сам И., маленький еще, с игрушечным псом под мышкой, десятью зубами во рту, почти как сейчас, чистый и любящий. Последними проснулись лица на иконах, образы их тревожили, но между тем и успокаивали, сводя все раздумья на нет. Почти недельный дождь прекратился, и на улице всюду светило солнце. Может, вот он, мировой замысел? Однажды заметить его, будь он светом или окончанием дождя, синяком под глазом И. или моими же дырявыми головой и сердцем? Так тому и быть, ну и черт с ним. И мне пора уснуть, чтобы предвидеть Тебя снова.

4

Отвага мученическая, сырость воспоминаний и треклятая бездна порока – с собою в путь я взял все, что не пригодится. Собирала мама сына. Скороговорки учил, чтобы говорилось легче, прически зачесывал и руки мыл по три раза на дню. И приснилось мне однажды, что устал я личико-то намалевывать и улыбки строить. Проснулся, переглянулся с собою и выпил кофе, покурил, зубы не чистив. Максимализма во мне было как в пьянице воды простой, родниковой. А уж желаний – более чем. Хотел я стать волком. Чудилось мне, будто на четырех лапах ходить удобнее. А значит, руки подавать не нужно никому, точнее лапы. После того, как хвост отрубили, желал я машинистом работать на поезде. Запутать все границы и железные пути, и красивых барышень лишь по вагонам сажать, а романские племена гнать ломом. Ответственность, говорили, большая. Хотел еще стать портным, водоносом, китайской древней вазой, хрупкой и ценной, паспортом, ребенком, огородом, летом. Ах, возжелать укорам собственным наперевес, предстать пред собою и дурачиться вовсю. Проигрался. Постарел и губы усохли. Книгой становлюсь – одно осталось нетронутым. Бери.

*

Занавес поднимается. Гаснет свет. Последний кашляющий человек прячет звуки в своем нагрудном карманном платке. Дамы пристально следят за сценой, мужчины – за дамами и их пышными нарядами.

Представление начинается.

Я выхожу на сцену. Я великий актер, знаменитый в стране, я собираю тысячи зрителей каждую неделю. Обо мне пишут в газетах на первых страницах. Я живая легенда. И теперь я выхожу на сцену.

Рваная рубаха вся в грязи и мокрая от дождя. Волосы на голове взъерошены. Под ногтями у меня земля, выцветшее лицо смотрит на руки. Глаза серые, но в темноте они сияют слабой злобой и огромной тоской. Минута. Зрители ворочаются и переглядываются друг с другом.

На мне туфли, идеально лакированные, как учил меня отец. Обувь должна быть безупречна в любых обстоятельствах. Брюки широкие и длинные. В карманах земля и табак.

Я хожу по сцене. Туда, обратно. Всматриваюсь в лица. На первом ряду вижу безупречно разодетых людей и их удивленные и иронические, но безукоризненно спокойные лица. На мужчинах костюмы тройка, у некоторых элегантные трости, кто-то курит сигару, другой – жует табак. Женщины также спокойны, пристально смотрят мне куда-то ниже шеи, на грудь или плечи.

Достаю из кармана пачку бумаги и пачку табака. Медленно закручиваю табак в самокрутку, облизываю кончик бумажки, заклеиваю. Толстые пальцы давят сигаретку, табак плотно сидит на своем месте. Нет спичек. Без слов, молча, жестами и кивками, прошу у мужчины из зала дать мне огня. Он повинуется, я слажу со сцены к нему, прикуриваю и сильно вдыхаю. Выдох. Смакую, привкус чайного гриба и шоколада, думаю я. Забираюсь обратно на деревянный помост. Хожу еще немного вокруг, разглядывая декорации. Потом ложусь на пол и докуриваю сигарету. Плюю на пальцы, тушу уголек, остатки самокрутки кладу в нагрудный карман. Царит гробовое молчание.

Достаю из другого кармана горсть земли. Улыбаюсь ей, играясь, рассыпаю по сцене, топчу ее, трогаю. Та пахнет потом и валидолом. Я становлюсь на колени и начинаю целовать землю. Потом набираю немного в рот и жую. На вкус как земля, если вам интересно.

Женщины в недоумении смотрят уже мне в лицо, мужчины жмутся в кресла от стыда, что они за этим наблюдают, но глаз не отводят.

Я снимаю рубаху, отрываю лоскут и завязываю себе рот туго. Во рту сухо и горько. Закрываю глаза и ложусь снова на холодный дощатый пол, руки кладу на грудь крестом. Меня бьют конвульсии, рот немо стонет, грудь задыхается. Безупречные туфли стучат каблуком о пол, левая туфля спадает, ее отбрасывает от меня недалеко, но я не могу ее достать, протянув руку, пытаюсь достать ногой – тоже не выходит.

Глаза бегают в стороны, рот пытается кричать, но ничего не выходит. Ломают руки и все тело эти пристальные взгляды. Волосы смешно и нелепо спадают на лоб, закрывают один глаз. «Ммм», – кричу я немо. Кто-то в зале откашливается. Я смотрю на него и падаю. Я не шевелюсь. Дыхание предельно медленное. Сердце почти не бьется. Закрываю глаза.

Подымаюсь тихо и преспокойно. Отвязываюсь от оков, отряхиваюсь, сплевываю. Разворачиваюсь и ухожу. Начинают хлопать. Люди встают и кричат «браво», скулят овации, мужчины бросают цветы на сцену, женщины плачут.

По микрофону хриплый голос успокаивает аудиторию и монотонно воспроизводит: «Сегодня представления не будет. Извините за причиненные вам неудобства. Спасибо».

*

Проснулся я оттого, что в двери громко стучали, кажется, ногой. Звонок у И. не работает уже несколько лет. Да и зачем, если сюда никто не приходит. Гостей мы совсем не ждали.

И. крепко спал на полу, лежа на своей куртке и укрывшись чернеющим одеялом. Просыпаться он и не собирался. Я вставал с трудом, еще не до конца осознавая, смотрю ли сон или меня тянут в явь, делают из меня настоящего. Стучали настойчиво и громко. Я себя ущипнул – все равно стучат. Это был уже явно не сон.

Головы, опрокинутые, немые, болтающиеся в разные стороны. Женщины, ходящие как по канату, вальсируя то влево, то вправо. Мужчины, томно дремлющие на последних сиденьях троллейбуса. Тихие, почти мертвые, но видящие сны. Дети, впервые поцеловавшие не крест на причастие, но губы, живые, истресканные, покусанные, кровоточащие. Сладкие. Первые. Матери, горько провожающие своих сыновей на войну песнями, стеклянные и в каком-то месте уже битые. Сыновья, идущие на войну, теплые еще, светящиеся из космоса, гладковыбритые. Их жены, слезные, горькие, еле волочащие ноги. Бродяги, зажигая огонь от спички на остановке, прикуривая плохой табак в папиресе, немые, немощные, и самые живые из всех, солдат взглядом провожающие. Все как один, пьяные будто алкоголем, любовью, ожиданием. Бредут к вокзалу. Место встречи изменить нельзя... Последние троллейбусы идут до конечной. Их высадят, ибо сами они уже не в силах. Только единицы из них попадут в плацкарты и купе, общие или будут ютиться в тамбуре между вагонов. Остальные же развернутся и побредут по домам, квартирам, уставшие до смерти, но все еще живые, потому что жить – значит ждать, а более всего – верить, что ожидание не напрасно.

Я выхожу на конечной. Здесь вокзал. Мой поезд тронется через 5 минут. Голова идет кругом, ноги тянутся сами по себе. Никто не провожает, никто не ждет. Последняя категория, те, кто забыт или не вспомнен. Те, кто едва ли станет замечен. Переживаю последние усилия на сегодня, подымаюсь по ступеням в вагон. Проводник мне стелет на месте, где должны храниться одеяла и постельное белье. Ехидно улыбается и прячет за пазухой бутылку коньяка. Сука, даже не поделится, думаю. Ну и черт с ним. Теперь можно будет заснуть и, главное, не просыпаться до тех пор, пока тебя кто-либо не заметит, пока ты не станешь мешать или чего худого, не выдвинешь свое жалкое больное тело против закона. Пока ты здесь, надеяться не на что. Даже матерям, бродягам и избитым романтикой школьникам. Кусаю губы, сладкие и липкие, кровь засыхает с рубцами. Засыпаю под гул проходящего мимо товарняка. Пути назад больше нет. Так я уехал к Тебе.

Часть 2

1

Стас выглядел обеспокоенным и неуверенно, как-то прерывисто, дышал ртом. Определить его состояние было нетрудно по его перекошенному взгляду сквозь кривые очки и взъерошенным волосам на макушке. Он все еще махал руками и бил себя в грудь, когда я открыл двери, но заметил меня и успокоился. Кажется, по лестнице он бежал и пару раз споткнулся, – носы у туфель были надломаны, а ладонь разодрана до крови. Точно голодный пес, он смотрел на меня с оскалом и потел, нервничал и высовывал язык в надежде что-то выдать, выплеснуть из себя в словах, но так и не смог ничего сказать, просто залепил мне пощечину.

– Какого черта? – наконец вырвалось. – Какого черта, ты куда пропал? Я тебя по всему городу ищу. Телефон недоступен, ты снова его выкинул в реку? А дома? Дома о тебе никто не знает уже несколько месяцев. В баре сказали, что ты даже к ним не ходишь. Какого черта, Леша?

Стас картавил и все, что он говорил, даже очень серьезно и важно, на слух ложилось дурацкой шуткой или еврейской байкой одессита, пропитанного до дырявых носков вычурной молдаванкой. Почему Стаса не зовут Исаак, подумал я?

– Успокойся, а то ты похож на ужаленного деда с улицы Молотова. Тише, ну-ка, – я похлопал его как-то некрасиво и неловко по плечу и приобнял. Ребенок внутри Стаса сжался, но сперва напряг челюсть и сомкнул ее с громким звуком. А потом уж растаял. Все мы дети, когда нас обнимают.

Я отпрял, лениво закурил и посмотрел на него. Коричневое пальто, шляпа и очки делали из Стаса героя обидных анекдотов, которые рассказываешь в школе на переменах втихаря своим одноклассникам. И только один из них сидит за партой, обиженный, что ему порция похабщины не досталась, и напрягает слух, а вдруг про него? Таким был Стас. А руки, одна вымытая и белая, другая лишь окровавленная, все стучали то себя в грудь в надежде выкашлять свое волнение, то снова меня по лицу, еле до него дотягиваясь. Стас был низким, худым и молодым. Он выглядел еще живым, но уже собирающимся полежать в тенечке от усталости.

– Дома я и не должен быть, выжили меня. А здесь я потому, что, ну, а где мне еще быть, а, Стас? У тебя, что ли, в халупе твоей с крысами и бомжами поэтической наружности? Ты лучше послушай, представляешь, поднимаюсь я в гору, а там...

– Леша, я не выслушивать твои байки пришел, таки баек мне хватило за все время, которое ты у меня украл.

– Так я же бандит, конечно, крал, скоро ты поседешь и проклятьями меня затравишь.

– Уже.

Стас прошел сквозь меня как-то ловко, закрыл за собой двери и двинулся в ванную привести себя в порядок. Станный он, всегда знает, что лишнего нервничает и бежит все время куда-то. Прибегает, а его, оказывается, не ждали.

– Красавица твоя с волосами цвета льна топиться собиралась. И почти ей это удалось.

– Как? – Я верчу головой. – Осень уже поздняя, куда она плавать-то сунулась?

– Во дурак, она в ванной чуть не утопилась. Говорят, соседи видели, как ее выносили на каталке в белых простынях, совсем голую, в красной помаде и с глазами, полными любви. Красивую, словно Афродиту перед смертью.

– Так и сказали?

– Не придирайся. Скажи мне лучше, ты где был в это время?

– Так был, просто был. Как мир – был, как солнце и вода, как... А что мне она, у нее муж новый, у меня нет, – говорю. Стас смотрел на меня так, будто он собирается заплакать, но только махал мокрыми руками все сильнее, а брызги капельками опали на мое лицо, на стены и белые потолки, окрашивая их в маленькие тени...

– Любишь же ее, признай! И не бережешь. С тобой уйти хотела, как узнала, что ты исчез. Знала тебя так хорошо, что все поняла и таки чуть не умерла. Дурак, дурак, живой и такой дурак!

Я отвернулся, вытер ладонями капли с лица и потушил уголек в душе большим апчхи. Мама учила, что когда я соберусь сильно соврать, чтобы этого не случилось, нужно притвориться что чихаешь.

– Будь здоров.

– Не буду врать.

– Что?

– Нет, ничего, раздевайся, проходи.

Стас был первым человеком, кто перевел всего Джойса без цензуры. Он читал стихи Буковски детям в саду с голой задницей и в шляпе красной шапочки. Трижды осужденный за хулиганства, дважды съеденный опешившими издательствами и почти что ставший эмигрантом, он был полным ничтожеством для своего поколения. То есть гением, как это звучит теперь. Только слишком зашуганным гением; однажды Стаса хотели кастрировать за его нетрадиционные взгляды на половую жизнь, причем сделать это хотели мусора. Точнее, они бы это и сделали, но один лейтенант тогда оказался в комнате пыток и узнал бедолагу как своего старого детского друга. Два еврея, один пидор, другой мусор с ужасом и огромным стыдом за самих себя разобрались с произошедшим почти без слов, так и расстались с миром, Стас, уходя на покой в одних колготах, а лейтенант, кланяясь и закрывая ладонями звездочки на погонах. Неизвестно, что для еврея было хуже, еще в детстве, и теперь – стать пидором или мусором. С тех пор Стас стал заикаться, но взглядов половых не сменил.

Он был первым, с кем мы стали заниматься литературой, писали книги, печатали их самиздтами и так и оставались безызвестными. Лишь в узких кругах бродяг, полуночников и гениев-неудачников мы ходили по рукам. А я был ему всегда как старший брат, не очень любящий и не совсем полезный. До тех пор, пока он не ушел в большую жизнь, оставив нас всех подыхать над своими записками психопатов. Он уехал в большой город и работал критиком, редактором, журналистом. Местные журналы любили его слог, живость и честность, давали критиковать всех тех, к кому придраться было сложно. И Стас без зазрения совести через свои толстые линзы в очках стрелял каждого нового живописца жизни и унижал их до потери интереса к себе же самому. Критиковал и нас, только после понял, что настоящая литература и есть мы все, беспечные любители, бандиты и сутенеры, наркоторговцы, дети, убивающие кошек ради забавы, гопники и безымянные, черствые и стальные, – мы были самыми настоящими для него людьми. Понял, что к нашей правде придраться нельзя, а к Улиссу можно. Что это время таких людей породило, бесцельных и безжизненных, и искусству осталось только возродить их в себе. Воплотить в целостное и рассказать о случившемся своими безграмотными словами. Этим мы и занимались. Так брат вернулся домой. Через два года отсутствия. И снова начал писать, жульничать и пить портвейн, одним словом, жить. А теперь вот стоял тут и бил меня по лицу своими потными ладонями, кричал, что я дурак. Не спорю, дурак, зато как худ и красив!

И. вылез за порог.

– Что тут у вас за шум? Стас, о, какая встреча. Полтинник принес? Или выпить чего?

– Нет, жена его, говорю, топилась!

– А она вроде плавать хорошо умеет, что ей топиться. Ты загар ее видел? Каждый год на морях и океанах отдыхает. А ты говоришь, топилась. Да и не жена она ему больше. Ты что, опять забухал?

И. закуривал и тяжело кашлял. Я отодвинулся от двери за порог. Стас уже не дотягивался до меня. Между мной и ним теперь стоял И.

– Да говорю же, в ванной топилась она! Любит она этого идиота, жить не может без него. А он, – он ткнул пальцем мне в грудь, – пропал и ей ничего не сказал.

– А он никому ничего не сказал. А о нем и не вспоминали. Кто о нас вспоминать-то будет?

– Она же помнила. И я...

– А муж-то что ее? Не помог ей всплыть? Или он муж – объелся груш? Или сам уже на дно пошел? Я вот ваших современных любовных отношений вообще не понимаю, любит одного, а живет с другим. И че это, блять, такое? Социализм?

И. хохотал уже вовсю, разлепив ото сна глазенки и потирая их от слезок и козявок. Стас прыгал и нервничал, я уставал.

Мне эта история уже порядком надоела, и хотелось выйти выпить кофе. Деньги на хороший кофе должны быть всегда, даже если ты конченный человек, удовольствия стоит получать от жизни хотя бы раз в день, и кофе – один из моих капризов. Но Стас слишком нервничал, и нужно было что-то делать. И. недолюбливал Стаса, дескать, тот ведет себя как педик. А вот некоторые педики совсем себя не ведут как педики. Короче, приехали. Утро начинается, начинается.

– Пойдем, расскажешь мне все по порядку, – говорю я ему, – а я пока кофе нам сварю.

Мы зашли в кухню. И. остался в комнате, докуривая сигарету и явно не собираясь к нам присоединиться. Он включил телевизор, экран показывал, как стреляют где-то на юго-западе. А у нас везде стреляют, но никто этого в эфир не ставит. Сигареты стреляют. И. внимательно следил за телом репортерши, ворочая головой и ухмыляясь ее животику и щечкам. Я закрыл двери в его комнату, стало тише. Стас снял туфли и аккуратно поставил их на коврик. Нос левой туфли вдруг взял и отвалился. Вот, что значит выбрать правду вместо порока. Город просыпался, просыпалась мафия.

*

Она была. Или не было ее, звон монет в пустых карманах. Мы познакомились с ней в М., когда я приезжал с презентацией своего самиздата. Белоснежные волосы, голос бархатный и сладкий, красивое тело, руки. Все остальное было не совсем красивым, но она казалась мне чудом и ангелом среди гнилья и пустыни нищенства. Я показал ей, как ходить по углям и битому стеклу, и она меня поцеловала. Потом я вырезал на руке ее имя, и она меня поцеловала второй раз. Я боялся, что искалечу себя, не придумаю, чем удивить ее снова, и нахмурился, но она подошла и поцеловала меня в третий раз. И все было хорошо. Мы бродили ницшеанскими путями, становились большими сердцами улиц, судьбами времен, полюсами. Мы смотрели глаза в глаза, идохнуть, наконец, не нужно было. А потом я уехал, и продолжили подыхать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.